СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

1

Когда я умер, один из моих друзей, захлёбываясь от восторга, говорил над ещё раскрытой могилой о том, каким «уникальным, редкого дарования писателем он был, как умел… как не поддавался… как многие годы не снижая планки… узнаваем с первого абзаца…» – что, на мой вкус, например, отнюдь не является достоинством автора, а скорее, наоборот, своеобразным признаком тупика, конца творчества и началом схемы – и так далее, и тому подобное, и всё это с замиранием сердца, навзрыд, на всхлип, на разрыв… Вот одна, одна-единственная слеза покатилась по щеке, блеснула в осеннем солнце, озарила мои бездны и исчезла в них. Такая волшебная осень! Я только тогда, в то именно мгновение, понял, что за волшебная осень в этом году – тишина совершенная, и только шелест листвы высоко над сельским кладбищем, и маленькая часовенка, словно примирившаяся с горем мать, прислушивалась к этому шелесту, едва различимая в глубине рощицы.

Затем, перевирая и путая строчки из моих ранних стихов и поздней прозы – всё это были жалкие потуги самовыражения, стремления найти свой стиль, свою манеру письма – ничего отвратительнее быть не может – освободиться от влияния предшественников – в юности, и себя самого – в старости, – перевирая их, эти строчки, удивлялся мой друг, как «он мог уже тогда предвидеть, предсказать… и всё равно, как это трагично и внезапно… любая смерть в любом возрасте внезапна и трагична, и даже смерть девяностодевятилетнего старика, а когда такой… когда так»…и т. д. и т. п. Скучное это дело – пересказывать дурака. Поневоле вставляешь свои рассуждения, чтобы поумнее, что ли, выглядело – стыдно ведь за друзей, – а получается ещё хуже.

Слушать без смеха всю эту патетику, все эти невыносимые гиперболы и прописные восторги я, конечно же, не мог. Допускаю даже, что мой друг был искренен в ту минуту и сам верил в то, что говорил, или, по крайней мере, врал вдохновенно. Но вообще-то сомневаюсь: на прежних похоронах некоторых своих коллег я слышал примерно то же самое. Не только от него, разумеется, частенько даже и от себя, но речь всегда была выдержана в известных границах: безвременная кончина, при жизни недооценён, предстоит заново открыть наследие, в общем, как и у всякого жанра – свои законы. Постыдная судорога смеха нестерпимо сводила скулы, распирала рот, норовила согнуть меня пополам. Это было, во-первых, опасно – всё могло раскрыться в единую минуту, –   
а во-вторых, всё-таки неприлично. Я закрыл лицо, делая вид, что утираю платком слёзы, и постарался унять этот неуместный приступ, но какие-то хрипы, очевидно, всё же прорывались наружу, и, приглушённые, они походили, я так думаю, на рыдание, потому что две дамы впереди меня обернулись и сочувственно покачали головами, а позади один мой приятель удивлённо шепнул другому: «Ты только посмотри!..»

– Вы, наверное, были близки Сергею Сергеевичу? – услышал я около себя женский голос, вкрадчивый и очень печальный и, мне показалось, даже благодарный за то, что вот я, совсем незнакомый ей человек, так переживаю, так огорчён смертью Сергея Сергеевича.

– Брат, – ответил я, разглядывая её сквозь пальцы и, к своему удивлению, отмечая, что действительно не знаю её. Я ожидал увидеть кого-то из знакомых.

Дама эта, очевидно, никогда не слыхивала, что у Сергея Сергеевича был брат, и едва уловимая под вуалеткой гримаса удивления и сомнения, даже будто бы с тенью ехидной насмешки, пробежала по её лицу, но быстро сменилась выражением почтительной скорби. Она всё-таки хотела приподнять траурную вуаль, чтобы получше разглядеть меня, но, передумав на полувзмахе, сказала: «Никогда не слышала о вас… Странно…» Подождав, пока я справлюсь со своими «рыданиями», она спросила ещё, впрочем, немного смущаясь, как мне показалось, моё имя.

– Иван Сергеевич, как Тургенев, – зачем-то добавил я это «как Тургенев» и дальше, почувствовав разгон фантазии, пустился в объяснения: – Мы с ним родные только по отцу, он младше на несколько лет. Я только вчера приехал из Варшавы. Знаете, там ужасно холодно было все эти дни, а здесь… не ожидал. Я уж думал, тут сугробы.

– Да, осень в этом году необычайно тёплая. Такая, знаете, настоящая пушкинская, золотая, «в багрец и золото одетые леса». А что вы делаете в Варшаве? Живёте? Служите?

– О нет, там я был проездом, а живу я здесь, в России. Нам с Сергеем осталось от отца небольшое именьице в Тамбовской губернии, вот там и живу. Барином, помещиком. Вся моя служба там: земля, земство, мужики да бабы, ребятишки деревенские, словно их Гоголь всех написал, бесконечные эти межевания, размежевания, суды и ссуды, споры с соседями за какой-то жиденький лесок, доходы, расходы, долговые расписки, дрязги в опекунском совете, старосты-мироеды, мужицкая нищета и пьянство, болезни, невежество, сено-солома… тоска, одним словом. Смотреть не на что, хоть застрелись. Мне кажется всё время, что от меня за версту навозом несёт. И чахотка следует за мной по пятам, будто я Чехов. Вот, выбрался из своей грязи, думал, с Сергеем на обратном пути повидаемся, а тут такая история... повидались. Мы ведь вместе выросли, наши матери были родные сёстры. Причём его мать была старшей сестрой. А у нас наоборот – старший брат я. Представляете, какие там страсти кипели. Шекспир.

– Скажите, пожалуйста… Любовная драма. Сергей Сергеевич мог бы и повесть об этом написать. Такой биографический материал.

– Да-да, что-то там произошло. Но родители, понятное дело, не любили этих разговоров, а мы – ни он, ни я – особо не интересовались. Хотя он, разумеется, смог бы. Может, он что-то и писал об этом. Я точно не знаю.

– Неужели вам никогда не было интересно всё это? Вся эта история?

– Отчего же?.. Но всё как-то не до этого было, а сейчас уже и расспросить некого. Разве что Селим может что-то знать. Да, надо бы спросить у Селима. Он с нами давно, ещё до Реформы я его помню. Видели бы вы этого Селима! Бородища растёт от самых глаз, а глаза такие, знаете, равнодушные и злые, даже и не злые, а жестокие, словно замыслил что-то и только и ждёт удобного часа, чтобы объявить нам всем газават. Я его боялся в детстве. Всё, помню, в сад убегал, прятался, когда мама или бабушка посылали его за мной: к обеду позвать или на урок. Мне всё казалось, что он мне по-тихому в кустах малины горло перережет и принесёт меня вот так бабушке – на, мол, корми его теперь завтраком. Представляете: веранда, кругом сад, на столе разные там вазочки, розеточки – с апельсиновым вареньем, с земляничным, с вишнёвым, с малиновым, с черничным… хлеб, масло, кофе…тоже такая, знаете ли, декорация для чеховской пьесы, и тут вдруг меня, прямо как царевича в Угличе. Я до сих пор не могу его взгляда выносить. Я его тут как-то спросил между делом: «Селим, – говорю, – ты в жизни любил кого-нибудь?» Он мне отвечает: «Любил». – «Кого?» – спрашиваю. «Тебя, когда ты маленький был». – «А сейчас, стало быть, не любишь?» – «Сейчас нет». Вот и весь сказ. Он меня, оказывается, любил.

– Бросьте горсть.

– Что?

– Сейчас закапывать будут. Бросьте горсть земли, проститесь.

– Ах, да… он меня любил… какая холодная земля…

Здесь произошла одна странная вещь: я не смог разжать кисти. То есть пальцы прямо не слушались меня, а вся рука стала как деревянная, неживая. Так как народу было много, все толпились, каждый хотел успеть, я, чтобы не привлекать внимания, кое-как сунув руку в карман, отошёл, протискиваясь среди скорбящих своих друзей, коллег, дальних родственников. Кому-то – прошу прощения – наступил на ногу – ничего, ничего – кому-то загородил дорогу, кого-то нечаянно толкнул и, только уже выбравшись из толпы, почувствовал, что судорога слабнет, и, наконец, сумел разжать пальцы.

Перепугался я не на шутку. Всегда, будучи склонен к мистике и суе-  
вериям, я придавал огромное значение различным приметам. Всякое случайное стечение обстоятельств, выходившее мне как-нибудь боком, мне виделось далеко не случайным, а предопределённым, о чём-то предостерегающим. А тут такое… Попутно замечу, что до сих пор сам на себя удивляюсь и не могу понять, как я, будучи таким осторожным и даже болезненно мнительным в такого рода вопросах человеком, смог решиться на подобную мистификацию, на такой жестокий и циничный фарс? Значит, накипело.

Выйдя из толпы на дорогу, я заметил, что та дама ждёт меня. Я почему-то сразу понял, что ждёт она именно меня, а не кого-то ещё. Рядом с нею был какой-то гвардейский офицер, очень стройный и красивый молодой человек, видимо, умевший себя держать и постоянно помнивший, что он носит мундир Измайловского полка, что эта честь накладывает определённые обязательства и т. д. Вёл он себя очень достойно и подчёркнуто сдержанно. Мне он показался чем-то похожим на Вронского.

Медленно, тяжело ступая, походкой человека, ожидающего, что вот сейчас его разоблачат, столпятся вокруг, будут тыкать пальцами – вот он, вот он – смеяться в лицо, галдеть, строить рожи, пожалуй, кто-нибудь и землицей швырнёт, той самой, я направился к ним, опасливо озираясь и всё ещё надеясь, что ждут они не меня. Но ждали они именно меня. Она что-то мягко сказала лже-Вронскому, дотронувшись до его руки и, наверное, улыбнувшись, и в ту же минуту он козырнул, повернулся – золотые погоны при этом, сверкнув на солнце, резанули мне по глазам – и отошёл, мельком глянув на меня. «Рохля, – подумал, наверное. – Экая рыхлая и бесполезная фигура – штафирка – одно слово». Но козырнул и мне.

Я остановился, чтобы перевести дыхание и одновременно соображая, что ей от меня может быть нужно, в какую сторону направить предстоящий разговор и как побыстрее от неё отделаться. И затем, в последний раз припоминая, не могли ли мы с ней встречаться раньше, «при жизни» так сказать, и чуть было не прошептав «ну, с богом», – подошёл к ней.

– За что же вы так с нами, Сергей Сергеич? – улыбнулась она, протягивая мне руку для поцелуя.

2

Её звали Ольга Алексеевна. Ей было двадцать шесть лет. Она была болезненно увлечена Толстым. Но не творчеством – серьёзно так и не прочла ни одной книги, много раз начинала, но не хватало времени, терпения и не всегда можно было достать, и слишком бурные восторги по поводу первых десяти-пятнадцати страниц мешали дальнейшему чтению – всё не могла привести в порядок мысли, успокоиться, подготовить русло, и размеренное, равномерное течение толстовского текста, могучий этот поток, натыкался у неё на какие-то камни, пороги, буераки, и Волга превращалась в Терек, в Гремячую балку, в лермонтовский Валерик, разливалась, разрывалась, тут и там пенилась, шумливо неслась по ущелью, выходила из берегов, переполняя собою сердце, и она не могла сдержать ни восторгов, ни радости – всё радовалась, радовалась – чему? – хотелось что-то делать, любить, куда-то ехать, кому-то помогать, перевязывать раны, успокаивать…

Она так и не смогла заставить себя решиться на что-то серьёзное. Так и жила в каком-то причудливом и неустоявшемся тумане образов с не до конца выясненными родственными связями, где Пьер и Стива, например, так похожие друг на друга своей московской тучностью, неторопливой барственностью и обаятельной, напоминающей о медвежатах, ленцой, соединялись в одного человека, а очки Пьера, его подслеповатость, делали его в её воображении ещё и родственником Грибоедова. О существовании «Казаков», «Холстомера», «Хаджи-Мурата», «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» или, скажем, «Дьявола» она вообще не догадывалась. Идеи «толстовцев», их движение – её тоже не занимали. Она что-то слышала о них, какие-то отголоски доходили и до неё, но думала, что «толстовцы» – это политическая партия, сторонники другого Толстого, министра образования, когда-то бывшего.

Восторги со временем проходили. Из года в год ничего не менялось. Та же нищая деревенька летом, та же чахлая рощица, та же больная речка. Родители старели и становились всё немощнее, а собственная жизнь казалось бесполезной и бесплодной. На зиму перебирались в город, и это за весь год было единственным заметным событием. Действительность слишком противоречила ожиданиям. Радость сменялась печалью, печаль – тоской. Всё казалось скучным и заунывным. Книги валились из рук. Она давно поверила всем на слово, что автор – человек великий. Это не требовало особых усилий. Она болезненно увлеклась личностью автора. Именно личностью этого толстолобенького доброго дедушки, в окружении внуков или крестьянских детей пьющего чай или одиноко – впрочем, нет, не одиноко, а под надзором кинооператора – идущего за плугом, играющего в шахматы с Чеховым –   
здесь фотограф – совершающего верховую прогулку – снова кино-  
оператор – беседующего с Горьким, Куприным или Короленко – опять фотограф – и, наконец, холодной осенью, босиком, ушедшего из дому. Тут уж никакой кинооператор или фотограф за ним не следовал. Наконец-то отвязались. Она даже как-то купила в книжной лавке, зимой, в городе, его небольшой портрет: шишковатый лоб, борода, утомлённый и мудрый взгляд. Купила, сразу узнав его. Повесила у себя в комнате.   
И только недели через две обнаружила внизу под литографией подпись.   
Шрифт был очень мелкий, пришлось встать на банкетку, чтобы прочесть. Там было написано «Сэр Чарльз Дарвин». Она удивилась, она не знала, кто такой этот Дарвин. Удивилась, как могла обознаться, да и не могла – решила, что какая-то типографская ошибка – и не стала снимать портрета – для неё это был Толстой.

И правда, было во всём этом что-то ненормальное.

– Уехать бы в Ясную Поляну, поселиться там простой крестьянкой…

– Оленька, не надрывай мне сердце! Что ты говоришь!.. – старый больной отец её только беспомощно махал руками и, шаркая к себе в комнату, громко сморкаясь, по пути звал жену: – Мать! Мать! Ты ей скажи…

Но и мать, как бы строго она ни смотрела, что бы ни говорила, – не могла ничего поделать. Оставалась одна надежда на замужество. Хотя и она уже становилась всё призрачнее: Оленька засиделась.

Но всё же хаживал к ней один молодой человек, робкий и краснощёкий мальчик, с едва пробивавшимися усиками, и вроде даже из хорошей семьи. Она его принимала, потому что больше женихов всё равно не наблюдалось, а он был милый, хотя временами и скучный. И она себя убедила, что, наверное, любит его, и было бы жестоко, даже бессердечно, с её стороны отвергать его. Он читал ей стихи. Слава богу, не свои, но и чужие не всегда находили отклика в её сердце, но она никогда этого не показывала, а говорила: «Да, Володя, это мило, это хорошо». – «Это Блок, Ольга Алексеевна, это не мило и это не хорошо –   
это Блок! Рождённые в года глухие пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего!» – «Да-да, и правда, очень хорошие стихи». Но он почему-то вздыхал и всегда будто бы обижался на такие её слова. Она не понимала, почему и что он от неё хочет, и тоже вздыхала. Вместе тошно – скучно врозь – говорила, глядя на них её мать. Всё так и катилось под гору – ни шатко ни валко – ни нашим, ни вашим – родители не вмешивались в их дела – боялись спугнуть жениха – Володя приходил, дарил букетики бледных ландышей или незабудок, читал стихи, Оля вздыхала и скучала, он дулся, потом опять приходил, и всё начиналось снова.

Но однажды он довольно серьёзно её напугал. Пришёл возбуждённый, радостный, даже восторженный, но какой-то весь неровный и недобрый, а в глазах такой синий ледяной блеск, что и ресницы от него будто подёрнулись инеем. И почему-то ей пришло на ум – словно только что человека убил. И всё говорил, говорил, говорил, как ему теперь всё понятно, как теперь всё будет чудесно и хорошо, какое прекрасное будущее их ждёт, что он теперь чувствует в себе новые силы, словно заново родился, словно стал теперь тем самым сверхчеловеком, как у Ницше. «Что с вами, Володя?» – «А знаешь, что?..» – И сразу же притянул её к себе, больно сдавив сзади шею, впился губами, так что и вздохнуть не успела, а только увидела, что губы у него тоже почему-то синие, как у покойника, и почувствовала его дыхание – холодное и злое. Этот его напор, эта стремительность, эта грубость – настолько ошеломили и напугали её тогда, что она просто растерялась и не сопротивлялась нисколько, а только боялась, чтобы старики ничего не услышали и не вошли, чтобы не было скандала. Но всё равно ничего у него не вышло: один только стыд и рукосуйство. Запутались в юбках, чулках, бретельках, в бесконечных этих крючках и застёжках. К тому же, срывая с себя одежду, он рассыпал из кармана жилетки какой-то белый порошок и, как только заметил это, сразу же забыл про неё, а стал ползать по полу на четвереньках в приспущенных брюках и дрожащими руками собирать его, бормоча какие-то ругательства и чуть не плача. И так ей стало обидно и противно, так невыносимо больно и стыдно и за него, и за себя, такой жалкий он был, что она просто отвернулась к стенке и представила, что умерла.

После того случая он был у неё только однажды, и то – один прийти не рискнул – а с товарищем: Россия вступила в войну с Германией, и они записались добровольцами – да и всё равно объявлена мобилизация – и скоро уезжают на фронт. Пили кофе с корицей и булочками. Апельсиновое варенье. Вишнёвый пудинг. Победа не за горами. Германия долго не выдержит. Кайзер пожалеет. Обожаемый Государь. Товарищ Володи был чем-то похож на Вронского, чем и запомнился Ольге Алексеевне.

Всего через два месяца Володю убили. Атака русской кавалерии захлебнулась под артиллерийским огнём, а панцирь-егеря с пулемётами завершили дело. Тот товарищ, с которым Володя приходил перед отправкой на фронт, прислал Ольге Алексеевне письмо с известием о его гибели и с какой-то серой, обугленной тряпицей – клочок от кителя – всё, что от Володи осталось. Тряпку эту Ольга Алексеевна безжалостно выбросила, а на письмо ответила и в нём, среди прочего, просила Володиного товарища беречь себя и в пекло попусту не лезть. Дарвин-Толстой взирал на всё это совершенно равнодушно: как Дарвин он понимал, что это и есть «естественный отбор» в действии, а как Толстой –   
он видал и не такое и давно от всего устал.

А примерно через полгода пришло ещё одно письмо, где Володин товарищ сообщал, что за свои геройства получил чин поручика и даже переведён по ранению в Петербург, в гвардию, в Измайловский полк и приглашает Ольгу Алексеевну приехать к нему.

Всё это было так неожиданно и в то же время желанно, настолько туманно и необдуманно и потому заманчиво, что Ольга Алексеевна в ответном письме хотя и отчитала адресата за дерзость, но далее намекнула, что предложение не отвергнуто наотрез, а только нужны ей некоторые гарантии и чётко прописанные условия, на которых он её приглашает, а также изложила и свои условия, без чего не согласна приехать.

Через месяц он приехал сам. Заморочил старикам голову, сделал предложение, убедил заложить деревеньку. Через два месяца – свадьба. И не где-нибудь – в Петербурге.

Но она всё про него уже давно поняла и знала, что никакой свадьбы, конечно, не будет. Она всё поняла, вернее, почувствовала ещё тогда, когда они с Володей пришли к ним перед отбытием в армию и взгляды их встретились. И это были не щенячьи Володины глаза: восторженные, глупые и влюблённые. Там, в тех глазах, были и расчёт, и аппетит. Даже аппетиты. Это были глаза волка, который выбрал свою волчицу. И она вдруг поняла, что она и правда – волчица, а не «тургеневская барышня». Вот тогда-то они и договорились. Вот тогда-то, за апельсиновым вареньем и вишнёвым пудингом, всё и стало ясно. И это, конечно, он снабдил тогда Володю тем порошком. И, разумеется, не было никаких его «геройств» и «ранений», за которые он переведён в гвардию, а были подкуп или чьё-то покровительство или и то и другое. Это глупый Володя ехал воевать и умирать за веру, царя и Отечество. Этот –   
никогда. Наверняка отсиделся в штабе, в адъютантах, и в той атаке, конечно, не был, но Георгия за неё – получил. И она не могла понять: ненавидит она его, любит или всё вместе? И самое главное – зачем она ему? Что он в ней разглядел? И что они будут там, в Петербурге, делать?

– Отлично устроимся, – говорил он, усаживаясь в мягком кресле отдельного, на двоих, купе. – Для начала заставим раскошелиться одного жирного кота. Он тут задумал сыграть весёлую шутку – простудиться на собственных похоронах. Зачем? Да какое нам дело, но скандал может быть грандиозный, и он его боится. А мы на этом заработаем.

– Весёлая у нас с тобой будет жизнь в Петербурге, – сказала она и почувствовала, что почему-то имеет власть над этим человеком, откуда-то знает, как этим зверем управлять и что он будет её слушаться и даже служить ей, и будет это делать с наслаждением.

Любуясь, она потрепала его по загривку, крепко ухватилась за волосы на затылке, притянула его голову к своей и, оскалясь и беззвучно зарычав, жадно впилась в его губы. Поезд неслышно тронулся, отчаливая от перрона.

«Дьявола» она, оказывается, всё-таки прочла.

3

Проснулся я довольно рано, хотя накануне засиделся далеко за полночь, разбирая свой старый архив. Среди прочего нашёл один давний, совершенно забытый и, разумеется, никогда не публиковавшийся рассказ, в котором, к своему удивлению, обнаружил ту же коллизию: старый писатель инсценирует собственную смерть, а двое авантюристов –   
молодые мужчина и женщина – шантажируют его. Было даже сказано, что шантажист – гвардейский офицер, измайловец, была подробно прописана их любовная интрига. Теперь получалось, что эти двое сошли как бы со страниц моего же рассказа. Дамочка даже ручку мне протянула тогда, для поцелуя, как по написанному. Главного героя там тоже звали Сергеем Сергеевичем, а его слугу – Селимом. Вообще всё это отдавало какой-то дурной достоевщиной – охота за компрометирующими письмами, шантаж, падшие женщины, внебрачные отпрыски знатных родителей, пьяные проповеди, молодые развратные офицеры-гвардейцы, бешеные купцы, игроки-фаты. Кстати, в студенчестве мне посчастливилось видеть Достоевского, приблизительно года за полтора до его смерти. Шёл он по Невскому, не разбирая дороги, и внешне производил довольно жалкое впечатление. Рядом с ним, вприпрыжку, едва за ним поспевая, семенил какой-то молодой человек, почти подросток, по виду точь-в-точь Аркадий Долгорукий, герой его повести.

Рассказ тот не был завершён, и по всему выходило, что жизнь как будто решила это исправить и показать автору, как это бывает, и чем там у них всё закончилось, и что вообще с ней такие шутки плохи. «Вот, – сказал я сам себе, – всегда всё надо доводить до конца, чтобы кому-нибудь не пришло в голову сделать это вместо тебя!» Подивившись такому забавному совпадению и ещё немного подумав эту оригинальную мысль, о том, что всё следует доводить до конца и где у жизни может быть та голова, в которую пришла идея завершить мой ранний и ужасно несовершенный юношеский рассказ, я крикнул Селима и велел ему нести завтрак и газеты.

Селим, надо сказать, был особенно груб все эти дни. Непонятно даже почему и что его так уж раздражало – то ли что барин сбрил бороду и усы и стал мальчишка мальчишкой, то ли весь этот бывший тут ещё недавно маскарад: восковое чучело в гробу на столе, какие-то люди, «поверенные барина», сновавшие с чёрного хода, полушёпотом, на цыпочках, похожие на шпиков, разносившие по редакциям и по друзьям «печальную новость», или хотя бы то, что сам барин прятался в задних комнатах, куда никогда раньше не заходил, и ему, Селиму, приходилось теперь шаркать через всю квартиру, неся газеты или поднос с завтраком. Вот, кстати, как это время было описано в том моём давнем рассказе, такая ещё любопытная деталь: «Сергей Сергеевич временами забывался и вместо теперешнего его имени звал Селима по-старому – Архипом. Селим-Архип огрызался. Чего он?.. С годами у него появилась обыкновенная среди старых и одиноких людей привычка – разговаривать с самим собой. И он всё время – приносил ли поднос с закуской, чистил ли платье или сапоги, возился ли с чем-нибудь на кухне – о чём-то кряхтел, ворчал, бормотал, время от времени громко вскрикивая, например “Ага, мечтай, как же!”, или – “А вот шиш тебе с маслом!”, или – “Ну, уж это – дудки!”. Иногда Сергей Сергеевич пробовал допытаться у него, о чём он там вёл свои разговоры, к чему относились все эти возгласы, но Архип только вздыхал, отмахивался от него, как от блаженного, бормотал что-то совсем уж неразборчивое, обычно подытоживая эту своеобразную беседу безнадёжным “Эх, недотёпа!”. И Сергей Сергеевич навсегда оставил свои попытки. Вместе с завтраком он затребовал газет».

Газеты настоящий Селим тоже принёс. Новости с фронта. Списки убитых. Государь в Ставке. Известия из-за границы. Нам пишут. Ага, вот и о нём самом: «С прискорбием сообщаем о безвременной кончине… отпевание состоялось…» На последней странице рекламы: ресторанов, зубных врачей, гастролирующего цирка, новых шансонье, женских чулок, концерта поэтов Мариенгофа и Есенина в «Бродячей собаке» (какие-то новые, не слыхал раньше), венерологов, ваксы для сапог… Частные объявления. Среди прочих: «Ивану Сергеевичу Т. Ваши пожертвования будут с благодарностью приняты по известному Вам адресу до завтрашнего дня до трёх часов по полудни. Анонимность гарантируем».

– Ну, уж это – дудки! – как нельзя более кстати донёсся из прихожей голос Селима.

Я усмехнулся. Этот старческий возглас Селима, подытоживший очередной его разговор с самим собой и так удачно совпавший с моментом, когда я прочитал объявление, адресованное, безусловно, мне, придал мне некоторой решимости, развеял мимолётный страх, подспудно овладевавший мной, и почти убедил меня в том, что всё не так безнадёжно, что решение найдётся. Вслед за этой уверенностью пришло приятное расслабление, ощущение юношеского озорства, игры. Впереди была долгая и счастливая жизнь. Я потянулся, захотелось ещё немного вздремнуть, понежиться в этой сладкой неге. Интересно, между прочим, что я там писал об этом моменте лет тридцать тому назад? Ага, вот это место: «Сергей Сергеевич отложил газету на столик и, переворачиваясь на диване своим толстым телом, сопя, пыхтя, отдуваясь, наконец, как медведь в берлоге, улёгся, заурчал, захрапел, закрылся с головою одеялом, всё забыл, всё отринул и уже почти стал задрёмывать – ещё часок, часок ещё бы, как вдруг чья-то рука решительно растолкала его, растормошила, нещадно стащила одеяло, вцепилась когтями в плечо: “Эй, барин, барин! В девять хотел ехать уже! Забыл?” Сказав это, Селим вышел, громко стуча каблуками, а вошёл ведь неслышно, крадучись, на носочках, чтобы не разбудить. Что оставалось делать? Как было сладить с упрямым стариком? Да и в самом деле – пора уже было ехать…»

Я встал.

– Селим, одеваться!

День обещал быть солнечным и тёплым. Селим принёс одежду, открыл окно. В комнату потянуло влажной, почти мартовской свежестью. Было тепло и ветрено, что редкость у нас в Петербурге в это время года. Снег, выпавший ещё вчера, теперь уже почти весь растаял, и кое-где на тротуарах ещё оставалось от него грязно-серое размокшее месиво. То была маленькая репетиция весны. Прохожие торопились, сновали из переулка в переулок, почему-то не обращая на неё никакого внимания. Редкие останавливались, щурились на небо, улыбаясь, и спешили дальше.

Приятно было одеваться у раскрытого окна, дышать свежим воздухом, наблюдая утреннюю городскую суету, особенную суету – столичную, петербургскую, и осознавать, что ты уже к ней не имеешь почти никакого отношения, что ты абсолютно свободен и можешь идти куда хочешь и видеть только эту репетицию весны и не знать никаких дел и забот. Надо было, правда, уладить кое-какие формальности, но это завтра. Сегодня я принадлежу только себе.

Архип по своему обыкновению лез со своей «помогой», возился с запонками, пытался накинуть на меня галстук – уйди, старый хрыч, – будто хомут на непослушную лошадь, лапал воротнички и манжеты, ворчал, по своему обыкновению, не переставая – «А ну, поворотись!.. Не балуй!.. Экай фармазон!.. Что за чучела!..» – и т. д.

– Поговори у меня, – шутя пригрозил я Архипу.

– А чай теперь не прогонишь меня? – неожиданно громко и строго спросил Архип, и я увидел, что старик плачет.

Я смутился. Чёрт возьми, а ведь и правда, я совсем не подумал о нём, что с ним будет, куда его девать! А ведь не скотина, живой человек и столько лет со мной, просто так не прогонишь. Имя даже новое догадался ему придумать (и он ведь откликался на него, хотя и ворчал), а что с ним самим потом делать – не спохватился.

– Шарф, пальто! Ниже, ниже опусти, вот так. Шляпа? Где шляпа? Архип, шляпу! Хотя нет, не надо.

Всё это время – подавая мне шарф, пальто, шляпу – Архип не отрываясь, вопросительно смотрел на меня, почему-то с открытым ртом, а по лицу его не переставая катились слёзы, так, что даже облезлые его бакенбарды и те намокли.

Оделся. Можно идти. Архип, с дрожащей челюстью и мокрым от слёз лицом, не сводил с меня глаз.

– Не бойся, старик, я тебя не оставлю, – сказал я ему уже в дверях, хотя не представлял ещё, что с ним делать.

Легко, словно гимназист, отпущенный на вакации, сбежал я по лестнице. Но ещё долго, смущая сердце, доносились до меня всхлипы моего верного Архипа, даже и на улице, хотя там, разумеется, я уже не мог его слышать.

4

Едва я вышел на улицу – городская суета сразу же захватила и закрутила меня, словно бурный поток щепку. Я забыл и о весне, и о свободе, и о покое. День уже не казался таким замечательным. Оттепель только раздражала: уж скорей бы настоящая зима, с морозами, а то кругом грязь и слякоть. Шляпу надо было всё-таки надеть – слишком ветрено. Всё это вертелось у меня в голове вперемешку со сбивчивыми и нестройными планами на предстоящий день. Следовало посетить некоторых знакомых. Кое-кто из них был в курсе дела – как, например, мой многолетний нотариус и адвокат, человек совершенно бесстрастный и непроницаемый, или ещё Александр Иванович, старинный приятель и коллега по писательскому ремеслу, – а кое-кто и нет. Для вторых я был Иваном Сергеевичем, братом покойного, удивительно – почти близнец! –   
на него похожим – только без бороды – и неожиданным наследником львиной доли состояния и всех прав на посмертные издания не опубликованных ранее произведений, коих масса, и которые никогда бы и не следовало публиковать, и которые Иван Сергеевич – будьте уверены – никогда и не опубликует. Ни жён, ни детей, которые могли бы быть естественными наследниками, у Сергея Сергеевича не было. Множество окололитературных проходимцев затеяли было тут же, у гроба, посмертное собрание сочинений в энном количестве томов, о чём, собственно, и говорили уже на похоронах, пусть ещё как-то глухо и обтекаемо, но уже с блеском в глазах, чуть ли не потирая ладошки. Слетелись, словно трупные мухи. «Если умело поставить дело, создать рекламу, подготовить публику – это же довольно доходное предприятие получится!» Всё это почти тут же, полушёпотом, вслед за словами об уникальном и редком даровании. Нате, выкусите! Или, как говорит мой Архип – «А вот шиш тебе с маслом!» Я всего этого насмотрелся и позора не допущу. Завтра в присутствии всех заинтересованных лиц вскроют завещание – плотный, лакомый конверт – и мой нотариус, полтора года до запятой выверявший текст, прочтёт его в гробовой тишине, как приговор, своим сухим, не допускающим апелляций голосом и положит конец всем кривотолкам и «прожектам». Представляю этот обвал вздохов, недоумений и возмущений в конце! Мне ужасно хотелось бы пойти понаблюдать эту сцену. Просто как писателю интересно, с профессиональной точки зрения. (Хотя не пригодится уже.) Но это опасно. Я рискую общаться только с теми, с кем был знаком «при жизни» лишь вскользь, мимолётно, или с теми, кто знает всю подоплёку дела. Таких, как я уже говорил, было немного: нотариус, Архип, Александр Иванович да ещё два-три человека в Министерстве внутренних дел и Министерстве имуществ, без участия которых дело о наследстве не пошло бы и которые за приличную мзду выправили мне новые документы. Кто-то из этих крысоподобных вздумал ещё и шантажировать меня. Действовать в открытую они, конечно же, побоялись – в этом случае я просто всё рассказал бы полиции, и они попались бы ещё и на подделке документов, а мне уже было бы всё равно – и подослали ко мне, прямо на кладбище, своих людей – тех самых, женщину и офицерика. Этот офицерик, что любопытно, оказался настоящим, а не ряженым, как я подумал сначала. Он и впрямь был гвардейцем, даже каким-то князьком и очень, судя по всему, сам себе нравился. По особому, ледяному блеску в их глазах – дамочку не спасала даже вуаль – я догадался, что они оба были под кокаином. Это меня ещё больше рассмешило и разозлило тогда. Я расхохотался им прямо в лицо. Дураки! Неужели они могли подумать, что я после всего случившегося испугаюсь шантажа! Я их прогнал тогда. На лице дамочки отразились непонимание и страх, и она беспомощно забегала глазками. Офицерик тоже явно не ожидал такого отпора и не знал, что делать – разоблачить меня прямо здесь, при всех, означало лишиться лакомого куша, но и отпускать меня им было нельзя.

– Не отчаивайтесь, Ольга Алексеевна, – сказал он, беря её под локоток, – Сергею Сергеевичу трудно сейчас, ему нужно время, чтобы всё обдумать.

В общем, они объявили мне отсрочку до завтрашнего, то есть уже сегодняшнего дня, понюхали и исчезли, как те две крысы из «Ревизора».

Этого следовало ожидать. Затевая такую скверную игру, которую затеял я, этого следовало ожидать. Я тогда решил не дать себя запугать и в течение всего последующего дня и ночи старался совершенно не думать о них. Но сегодня утром, просматривая газеты и наткнувшись на их объявление, адресованное мне, я понял, что они от меня не отстанут, а один я не смогу выпутаться. Мне нужен был совет человека стороннего, здравомыслящего, смелого, бывшего в курсе произошедших событий и до известной степени мне сочувствующего. Это мог быть только Александр Иванович.

Он был известный писатель, весельчак и пьяница, знаменитый в городе бузотёр и тоже любитель всяческих авантюр. А ещё мой старинный приятель. Когда я впервые, года два назад, рассказал ему о своём замысле, как бы в шутку, опасаясь, не сочтёт ли он меня сумасшедшим, он был в восторге, расхохотался, как Гаргантюа, и захлопал в ладоши, как ребёнок. Отсмеявшись, Александр Иванович сказал мне, что вся эта история напоминает ему чем-то повести Пелевина, модного в девяностых годах писателя мистического направления. И вот теперь я направлялся к Александру Ивановичу за советом.

Ещё вчера, за ужином в одном захудалом ресторанчике, где мы подальше от случайных знакомых и ненужных глаз устроили с ним свое-  
образные «поминки» с шампанскими и цыганами, я, между прочим, рассказал ему, как бы вскользь, и об этой неприятности с шантажистами. Он тогда подумал, пожевал, махнул рюмку водки и сказал просто и решительно:

– Их надо просто проучить, отходить хорошенько.

– Как это – отходить? – не понял я.

– Да очень просто – избить, поколотить. Набить морду. Как мужики бьют друг друга. Кулаками.

– Да полноте, Александр Иванович! Возможно ли?

– А то нет! Назначьте им время. Мы втроем приедем – я, вы, Маныча ещё возьмём – Маныч, вы пойдёте? – Маныч, верный его Санчо Панса, сделал знак, что готов с ним в любое пекло и без разговоров.

– Ну, вот и прекрасно, – продолжал Александр Иванович. – Отделаем так, что и думать забудут. Эх, повеселимся!

– Позвольте, а дамочка? Её что, тоже бить?

– Ну это лишнее, конечно. Да на неё посмотреть посвирепее – ей за глаза хватит. Соглашайтесь, а то я скоро в армию уезжаю. Да-с, призван. Поручиком, в ополчение в Финляндию, командиром пехотной роты. Могу я покуражиться напоследок или нет? Знаете русский обычай: рекрут, сданный не в очередь, – куражится.

Вчера мне его предложение показалось безумием. Хотя кто бы говорил. Александр Иванович был знаменитым любителем драк. О его драках ходили легенды, да и сам он любил рассказать об этих своих «подвигах». Тогда, изрядно захмелев, он пустился в воспоминания:

– Эх, да разве же сейчас так дерутся, как дрались в прежнее время…

И в очередной раз он рассказал не однажды уже слышанную мной историю, как он в Одессе отбивал бильярд у одного завсегдатая, который занимал стол с самого утра и катал шары до вечера, никого уже не пуская. Как потом его противник, пришёл мириться, узнав, что женщина, в которую он влюблён, сестра Александра Ивановича, у которой Александр Иванович и гостил, а что сам Александр Иванович – Александр Иванович, знаменитый на всю Россию писатель – ему было наплевать, потому что он всё равно ничего у него не читал.

Отделать, значит. Побить. Безумие какое-то. Мальчишество. А вот сегодня, выйдя на свежий воздух, я вдруг подумал, что не такое уж это и безумие. Что надо и правда сделать так, как он предлагает. Я шёл к нему, чтобы договориться о месте и времени, и надо было ещё послать записочку, этим двоим. Они уж точно не ожидают такого поворота. Шпана великосветская.

Тут я вспомнил, что оставил дома папиросы, а курить хотелось невыносимо – свежий воздух, пешая прогулка. Я остановился, отыскивая взглядом мальчишек-лоточников, которые всегда вертелись в толпе, лезли то с газетами, то с какими-то кренделями да сайками, но самый ходовой товар был у них – папиросы. Все они были на одно лицо, все кричали всегда одно и то же – бойкие городские гавроши, белобрысые и чумазые, но теперь я не видел ни одного. Я раздражённо озирался, теребя в руках перчатки. Ветер с каким-то нарастающим недовольством и недоверием обдувал меня со всех сторон, словно обыскивая, словно пытаясь выяснить, кто я такой и зачем здесь стою, а прохожие в немом беспамятстве ежедневной своей суеты, натыкаясь на меня, злились, огрызались себе под ноги, совсем как мой Селим, обходили меня и утекали дальше. Вот старенький облезлый чиновник смерил меня крысиными глазками и юркнул в переулок, вот близорукий, болезненного вида тощий молодой человек в фуражке железнодорожника чуть не столкнулся со мной и, трусливо пробормотав невнятные ругательства, исчез в толпе, вот мужик с кадкой сельдей на голове – Посторонись! – и я сторонюсь, вот жандарм в штатском, но он по привычке надзирает, забыв об отпуске, и я узнаю его по этому взгляду, по этому толстому красному лицу с вылинявшим усом, с дряблыми мешками под глазами, вот студент, вот старушка, вот дама, вот гимназист, ещё гимназист (этот –   
дылда), ещё дама, чиновник, телеграфист, японец, ещё чиновник, вот свой брат петербургский байбак, вот какой-то щеголь бежит поперёк улицы, уворачиваясь от других прохожих, и машет извозчику. Вот наконец среди всех этих высоких людей я вижу мальчишку с огромным коробом, который он еле тащит впереди себя, и ремень больно натирает ему шею, а поднять воротник и подсунуть его под ремень он не догадывается или ему несподручно. Шапка-ушанка сползает ему на лоб, он поправляет её постоянно, пальцы едва видны из рукавов – тулупчик с чужого плеча, ещё велик – ну велик – не мал, подрастёшь – будет впору. Я подзываю его.

– Чего изволите?

Я изволю папирос.

– «Кронштадтские», «Петровские», «Крымские»…

Я беру «Крымские». Лезу в карман, чтобы расплатиться. Где-то должна была быть мелочь. Не в этом. Лезу в другой. Запутался в подкладке. Так… Господи! Что за чёрт! Кто это мне напихал полный карман земли? Архип, что ли, со злости? Чудак старик, обиделся… Тут я чувствую что-то странное: какое-то шевеление между пальцами, там в кармане. Господи!.. Я понимаю, что это за земля. Панический ужас, почти истерика охватывают меня – колени трясутся, руки дрожат, как у многолетнего пьяницы, я лихорадочно вытряхиваю её, выворачиваю карманы, горсти земли вываливаются на ботинки, на пальто, на брусчатку мостовой, а вместе с ней вываливаются большие белые жирные черви. Я чувствую, что у меня изменилось лицо. Мальчишка видит, что творится что-то неладное, он, не спуская с меня глаз, торопливо подбирает мелочь, которая со звоном высыпалась на мостовую вместе с землёй и червяками, испуганно смотрит на меня, сдвинув шапку на затылок, подбирает мелочь и затем, не оглядываясь, перекинув свой короб за спину – убегает прочь.